

Бруно Латур Научные объекты и правовая объективность*

Описание Государственного Совета как лаборатории

«Таковы факты, нравится вам это или нет»; «Мы пришли к решению, устраивает оно вас ли нет», — факты тверды в своей обоснованности, а закон тверд в своей строгости, что всякий раз заставляет соглашаться с тем и с другим. В обоих случаях эта твердость такова, что ей можно лишь подчиниться. Еще больший интерес сравнение мира науки с миром права представляет в силу того, что в обеих этих областях в качестве добродетели выдвигается беспристрастный и лишенный предубеждений подход, который обеспечивается за счет дистанцированности и точности; и в обеих областях участники говорят на эзотерических языках и мыслят в специально выработанных терминах. Кроме того, как ученые, так и судьи, похоже, пользуются особым рода уважением, неведомым в других сферах деятельности. Сравнение, которое я постараюсь сделать в этой главе, является сравнением не столько «науки» и «права», сколько двух лабораторий: лаборатории моего друга Жана Россье в Ecole de Physique-Chimie и лаборатории Государственного Совета (Conseil d'Etat)¹.

Вместо того чтобы основывать свое сравнение на том, что говорят о себе сами ученые и юристы, я скорее, по своей привычке, буду полагаться на результаты этнографических исследований, уделять пристальное внимание местам, особенностям образа жизни, условиям речевого поведения и всем тем незначительным деталям, которые все вместе, добавляя каждая свои незначительные мазки, мало-помалу позволяют по-новому определить науку и право. Развивая такой подход, мы увидим, что эпистемология переняла ряд особенностей своей старшей сестры, правосудия, и что право зачастую наделяет себя такой властью, обеспечить которую может только наука. Систематическое сравнение этих двух видов деятельности уведет нас от повторения устоявшихся клише и позволит создать более разностороннее описание посредством различения научных объектов и правовых. Возможно, ту знаменитую добродетель — объективность, — в поисках которой антропологи науки так долго тщетно блуждали по лабораториям, они отыщут в Государственном Совете.

<...> Проведя много месяцев в Совете, мы находим этологию наших друзей в научных лабораториях довольно-таки удивительной. Здесь никто не носит формальной одежды, не говорит серьезным тоном, не расхваливает торжественной поступью, не использует изысканных речевых оборотов и не ведет утонченных дискуссий. Вместо этого здесь можно обнаружить разговоры на повышенных тонах, непристойные шутки, повседневный «американский» стиль одежды, а временами — вспышки ярости или, к примеру, гневные тирады в адрес осциллографов, высвечивающих свои кривые не так, как

*

Перевод с англ. — Даниил Аронсон, Виталий Долгоруков, Яна Закорко. Перевод выполнен по изданию Latour B. *Scientific Objects and Legal Objectivity* // Alain Pottage and Martha Mundy (Ed.). *Law, Anthropology and the Constitution of the Social: Making Persons and Things*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 73–113.

1

Эта глава представляет собой переработанную главу 5 гораздо более длинной этнографической работы: Latour B. *La fabrique du droit: une ethnographie du Conseil d'Etat*. Paris: La Découverte, 2002. Совет играет роль судьи по отношению к административному праву — это называется Contentieux — а также роль государственного советника по вопросам права — это называется, довольно-таки загадочно, Sections administratives. Он является частью исполнительной, а не законодательной ветви правления. Как судебная инстанция, он рассматривает все дела, затрагивающие отношения индивида и государства. Сравнение с британским правом см.: Harlow C. *La Huronne au Palais-Royal or a naïve perspective on administrative law* // *Journal of Law and Society*. 2000. 27 (2). P. 322–327. А также в вышедшей гораздо раньше полной монографии, посвященной этому вопросу: Charles E. Freedman. *The Conseil d'Etat in Modern France*. New York: Columbia University Press, 1961.

следует; гильотинных ножниц, слишком тупых для того, чтобы ими можно было отрезать головы лабораторных крыс; микропипеток, посечки на которых не позволяют должным образом изучать находящийся под микроскопом нейрон; или в адрес какого-нибудь особенно тупоумного критика. Если в Совете из уст сладкоголосых советников речь льется непринужденно, то здесь она — прерывистая, неуверенная, запинаящаяся и иногда становящаяся совсем невнятной. Это не значит, что посетители не в состоянии понять смысл сказанного в лаборатории; скорее, это означает то, что здесь вместо слов могут использоваться жесты и во многих случаях исследователи ничего не говорят, а просто тычут пальцем в то явление, которое было обнаружено их приборами, — явление, показывающее им себя с большой неохотой, поскольку это зависит от того, хорошо ли виден отдельно взятый нейрон, а значит — от профессиональных и технических навыков исследователей, которые часто дают осечку и постоянно сталкиваются с препятствиями вроде закупорившихся пипеток, недоступных нейронов и невразумительных результатов. Если слова советников звучат подобно изречениям из книг — ведь они опираются на текст из Лебона² и от него переходят к тексту своего приговора (arrêt), а после этого — к текстам меморандумов и отзывов (что соответствует порядку, в котором документы дела группируются в досье), при этом постоянно оставаясь в мире текстов, — то речь лабораторных исследователей представляет собой вечный прыжок через глубокую пропасть, отделяющую пульсирующий под стеклом микропипетки крысиный нейрон от произносимых в его отношении человеческих фраз. Ничего удивительного, что они часто вынуждены колебаться, начинать заново, замирать в ожидании, молчать по нескольку минут или нарушать размеренность своей речи восклицаниями вроде «Есть!», «Вот оно!», «Упустил!» или «Какая глупость!».

<...> Когда советники вступают в дебаты, они все похожи друг на друга и отличаются только большим или меньшим опытом в судебно-административной сфере: ни один голос не имеет большего веса, чем остальные (если не брать во внимание тонких различий в степени авторитетности). Когда собираются экспериментаторы, каждый из них может быть совершенно некомпетентен в сфере исследований своего соседа (пусть они и проработали вместе долгие годы), не зная, какие там поставлены проблемы и какие используются приборы, но он точно знает, какие его собственные находки могут быть использованы его коллегой и какого доверия будут заслуживать данные, аналогичным образом полученные от кого-то из других экспериментаторов. Если советники, по определению, судят те дела, с которыми они ознакомились впервые и о которых не имеют никакого изначального представления, и не используют при этом иных инструментов, кроме собственной памяти и небольшого количества записей, то каждый исследователь занимается лишь той частью крысиного «дела», с которой — благодаря своим приборам, годами усвоенной дисциплине и профессиональным знаниям, позволяющим получать узкоспециализированные данные, — он знаком в совершенстве.

<...> Чаще всего лабораторных исследователей можно найти обрзовавшими концентрический круг вокруг стола для эксперимента, в центре которого — конкретное явление, подлежащее некоего рода проверке или испытанию (в данном случае, электрической стимуляции, за счет которой высвобожденные отдельным нейроном нейромедиаторы окажутся на другом конце аксона)³. И они не прекращают говорить — на несколько загадочном языке — о той неясной сущно-

2

Лебон представляет собой ежегодную подборку наиболее важных решений Совета. Англоговорящие читатели должны принять к сведению, что французская система административного права основана, подобно неписаному закону, на прецеденте и полностью отлична от правовой системы, основанной на нормативном акте. Последняя действует во Франции в частной и уголовной сферах и называется le judiciaire. Так же как во многих странах, переживших вторжение Наполеона, во Франции имеется две совершенно разные, действующие параллельно ветви права. Англии в этом отношении не повезло, хотя судебные лорды отчасти выполняют ту же функцию, что и Совет во Франции.

3

Lynch M. *Sacrifice and the transformation of the animal body into a scientific object: Laboratory culture and ritual practice in the neurosciences* // *Social Studies of Science*. 1988. №18.

сти, которую им удалось заставить весьма неразборчиво говорить или, по крайней мере, демонстрировать — посредством осцилляций или продуктов химических реакций — то, какого она сама мнения о проверке, которой подвергается. Они напоминают кучку азартных игроков, столпившихся вокруг дерущихся петухов, на которых каждый из них поставил свою судьбу; они, может быть, и не вопят, как сумасшедшие, но не возникает сомнений, что они страстно увлечены судьбой своего нейрона и тем, что он, возможно, собирается рассказать. С другой стороны, нет понятия, хуже подходящего для описания манеры держаться, свойственной судьям в ходе слушания, чем «страсть». Здесь нет *libido sciendi*. Ни одно слово не произносится громче других. Откинувшись в своих креслах, сохраняя внимание или как бы уснув, проявляя интерес или оставаясь безразличными, судьи всегда сохраняют дистанцию. Единственный, кто при этом страдает, так это истец. Хотя он, как правило (но не всегда), присутствует на процессе, из сказанного по поводу его дела он понимает не больше, чем крыса — из постоянно делаемых замечаний о структуре ее мозга. Так или иначе, волнения истца — последнее, что представляет интерес в ходе рассмотрения дела: они ничего не стоят, точнее, уже ничего не стоят, или еще ничего не стоят. Если судьи, находясь в зале суда, совершенно равнодушны к делу, которое волнует лишь истца, то объектам, изучаемым в лаборатории, никогда не понять, почему их судей столь страстно интересует в них то, к чему они сами полностью индифферентны. Одно можно сказать наверняка, *libido iudicandi* — вещь очень специфическая.

Отмеченное различие обнаруживается даже в манере написания текстов (ученые тоже посвящают этому занятию немало времени, хотя и меньше, чем советники). Как нам очень хорошо известно, приборы, оборудование, химические реагенты или животные не являются конечными продуктами лабораторной деятельности. Исследовательская команда, способная проводить исследования на высочайшем уровне, но никогда не писавшая научных статей, вскоре потеряла бы свою репутацию, если бы только она не отказалась от фундаментальных исследований в пользу развития прикладных технологий. С точки зрения производства письменной продукции научный институт сходен с Государственным Советом, и в обоих случаях можно провести статистический учет количества страниц, производимого каждым членом института, и даже количества цитирований соответствующих работ. Впрочем, это сходство улетучивается, стоит лишь обратить внимание на характер научных статей, которые совсем не похожи на законодательные приговоры. Исследователи пишут скорее не «приговоры», а «истории с продолжением»; в действительности, если говорить в терминах права, они пишут заявления и выступают скорее истцами, нежели судьями. То есть, каждая научная статья функционирует как судебное решение относительно заявлений, поданных коллегами автора, или как «жалоба», изъясняемая в адрес тех же самых коллег от лица того явления, существование которого утверждается в статье. Иными словами, оппоненты, которым адресована научная статья, не являются настоящими судьями, потому что они: (а) относятся к той же профессиональной категории, что и автор; (б) не могут положить конец дискуссии; (с) сами судимы (иногда очень сурово) «истцом», с которым (d) имеют равные права на то, чтобы продолжить дискуссию, начать ее заново или закрыть. Каковы бы ни были механизмы, приводящие научные разногласия к разрешению, они с необходимостью сильно отличны от тех, кото-

4
Jasanoff S. What Judges Should Know about the Sociology of Science // *Jurimetrics Journal*. 1992. №32. P. 345.

рые созданы в Совете для закрытия дел⁴.

Может показаться неожиданным, что язык научных статей является куда более пылким, чем язык судебно-административных текстов. Так происходит потому, что их авторы раздувают свои заявления настолько, насколько это возможно, вынося на обсуждение сразу все темы, чтобы встретить все возможные возражения путем игнорирования некоторых из них или выделения тех возражений, которые помогут им сделать акцент на конкретном эксперименте или результате. Вся эта страсть, энергия, все эти риторические изыски, благодаря которым даже самая теоретическая или эзотерическая из научных статей смотрится красивее, чем иная опера, исключены из приговоров Совета. Авторы последних должны приводить ссылки на все относящиеся к делу тексты (представьте себе исследователя, обязанного цитировать каждый из использованных им источников), отвечать на все приведенные доводы (представьте себе исследователя, которого принудили не избегать ни одного из возражений его критиков), и ни на какие другие (представьте себе, в какой ужас пришел бы ученый, если бы его попросили рассматривать только те вопросы, которые ему задают другие, а не сотни вопросов, которые он задает сам себе), добавлять настолько мало нового знания к тому, что было получено предшественниками, насколько это возможно (все авторы научных работ мечтают устроить революцию в науке), и делать все перечисленное так, чтобы закрыть дискуссию раз и навсегда (тогда как исследователи мечтают только о возобновлении дискуссии, а если и пытаются прийти к заключению, то к такому, чтобы оно было выгодным для них и сформулированным на их языке)⁵. Дело в том, что исследователь пишет для других исследователей, чьим невидимым, но неизбежным присутствием пронизано все, что он пишет, тогда как судья — прежде всего, если он работает в суде последней инстанции, — пишет только для адвоката истца, и лишь во вторую очередь — для своих коллег и для составителей правовой доктрины. У того и у другого разные адресаты.

Разумеется, случаются ситуации, когда наука принимает вид судилища. Одним из примеров могут служить знаменитые Комиссии Академии Наук, которые были учреждены в XIX веке, чтобы разрешать (от лица ученых) споры между особенно вспыльчивыми исследователями, неспособными достичь консенсуса общепринятыми способами (кроме, разве что, дуэли!). Сегодня у нас есть жюри, публичные собрания или телевизионные дебаты, где один исследователь в области генотерапии выступает против другого в присутствии аудитории, которая должна решить, кто из них прав⁶. Кроме того, имеются обширные области, в которых ученые выступают в роли экспертов, появляются перед судьями, чтобы свидетельствовать по вопросам, доступным их экспертизе (безумие подзащитного; происхождение ДНК, найденного на месте преступления; обоснованность заявки на патент; риск, связанный с использованием определенного средства; и т.д.). Но каждая из этих ситуаций имеет в первую очередь правовой характер, а не научный. В XIX веке Академия могла выносить квазиприговоры в отношении ученых лишь потому, что ее авторитет был сравним с авторитетом закона, и потому, что даже при этом ее решения были лишь квази-решениями, которые никого ни к чему не обязывали и не могли гарантировать, что спор не всплывет заново где-то еще, на других собраниях или в других лабораториях. В науке нет такой вещи как «орган, выносящий окончательные решения» (*res iudicata*)⁷. С другой стороны, когда эксперт свидетельствует в суде,

5
Myers G. *Writing Biology: Texts and the Social Construction of Scientific Knowledge*. Madison: University of Wisconsin Press, 1990.

6
Jasanoff S. *Science at the Bar: Law, Science and Technology in America*. Cambridge: Harvard University Press, 1995.

7
Res iudicata (лат.) — «разрешенное дело». Положение римского права о том, что окончательное решение суда является обязательным для сторон спора и не подлежит пересмотру (прим. пер.).

судьи предпринимают все необходимые предосторожности, чтобы быть уверенными, что он не узурпирует роль судьи, что все, сказанное им, не является ни судебным решением, ни предписанием к такому решению, а лишь имеет форму свидетельского показания⁸. Эти пограничные ситуации ясно дают понять, что два этих вида деятельности, два способа написания текстов, столь же различны как масло и вода, оставаясь разделенными, как бы упорно их не смешивали.

<...> В научных спорах всегда есть третья сторона, судья, который определяет все содержание темы, хотя он и нем, которому все остальные стороны подчиняются без обсуждения (находясь при этом в постоянном обсуждении!) и следы которого можно найти в архаичных правовых практиках ордалий и божественного суда: а именно, сам объект, который подвергли испытанию, чтобы услышать от него нечто о том, что уже о нем было сказано – нечто, одновременно невинное и имеющее решающую силу. Эту знаменитую *aita, res, causa, thing, chose*, или «вещь», в европейских языках история науки позаимствовала из мира права⁹. Чтобы понять ту крайне специфическую форму изложения, с которой можно столкнуться в сердце лаборатории, необходимо обратиться к истории допросов, к пыткам, к тонкому искусству инквизиции; то есть к тем самым практикам, которые современным законом рассматриваются как позорные и архаичные, которых он стыдится, как своего прошлого, гордясь одновременно тем, что они в прошлом.

«У нас есть средства заставить тебя говорить», – произнес бы, возможно, физиолог, выдав тем самым свои садистские наклонности, отражающиеся даже в самом невинном эксперименте. Но слово «средства» (*moyens*)¹⁰ не имеет здесь того значения, которое оно имеет в законодательстве, ведь нейрон, подвергнутый расспросам, не жалуется, а процедуры, которым он подвергается, никто не рассматривает как правонарушения (за исключением борцов за права животных, считающих лабораторные эксперименты такими же жестокими как древние ордалии и заслуживающими решительного судебного преследования). Подвергаемый ордалии не-человек (например, крыса, нейрон, ДНК или нейропептид) занимает одновременно позицию судьи в последней инстанции (ведь он выносит заключения по поводу сказанного о нем) и жалобщика (ведь его представляет посредник – страстный ученый, взявшийся за его дело и пополняющий научную литературу одной статьей за другой, добываясь перед состоящим из его коллег судебным трибуналом признания как своего права существования, так и аналогичного права своей вещи (*chose*), своего объекта (*cause*) с его особой каузальностью). Его коллеги никогда не выносят окончательного решения, пока не будут поставлены перед неоспоримой (но всегда оспариваемой) очевидностью фактического положения дел (*matters of fact*), которое само по себе говорит ясно, только если ученые открыли более или менее широкой публике те его особенности, которые они сообщают согласившись принимать за окончательно установленные.

Стоит заметить, что невозможно, описав, как даже в самом банальном эксперименте осуществляется научная ордалия истины, и далее опираться на господствующую идею о том, что науки чисты, объективны, беспристрастны, дистанцированы, холодны и самоуверенны. Так же невозможно провести непосредственное сравнение науки и закона, не описав предварительно те черты каждого из этой пары, которые выглядят заимствованными у другого. В обеих этих сферах деятельности можно найти речь, факты, суд, специалистов,

8

Это знаменитое дело Даубера (*Daubert*), см. <http://laws.findlaw.com/us/509/579.html>.

9

Thomas Y. Res, *chose et patrimoine* (note sur le rapport sujet-objet en droit romain). Archives de philosophie du droit. 1980. №25. P. 413.

10

Словом «*Moypen*» во французском правовом жаргоне называют довод, который может быть изложен перед судом; *moypen* может «цвести», «засохнуть», «разрастись» или «не принести плодов».

письмо, формулы, все виды записи и архивов, справочники, диспуты и коллег. Однако место всех этих вещей в науке и законодательстве одновременно слишком различно, чтобы рассматривать их функцию как одинаковую в обоих случаях, и слишком схоже, чтобы говорить о полном различии одного и другого. Чтобы разобраться в этом частичном совпадении, я должен, как всегда, тщательно и осторожно продолжить продвижение вперед в своих изысканиях.

На данный момент самое главное заключается в том, что факты, вопреки старому изречению, не «говорят сами за себя»: утверждать подобное означало бы не принимать в расчет ученых, их разногласия, их лаборатории, их приборы, их статьи, их прерывистую, неуверенную, иногда с использованием дейктических выражений, речь, которую можно лишь услышать и увидеть. С другой стороны, нельзя понять ничего из происходящего в физико-химических лабораториях, не обратив внимания на то, что все, сказанное людьми в белых халатах, постоянно изучается, проверяется, осмысливается и отвергается – одновременно вездесущими речами даже самых удаленных из их коллег и теми фактами, центральное значение которых признается всеми и на которые все ученые полагаются как на свой единственный апелляционный суд. Сказать, что ученые попросту достигают между собой соглашения по поводу того, что говорят обсуждаемые ими вещи, означало бы не понять ничего в природе той особой силы, которой обладает их деятельность, и еще меньше – в природе мотивирующей их страсти. В-третьих, речь, циркулирующая в лаборатории между учеными, их коллегами и объектами, речь, по отношению к которой каждый – одновременно ее судья и участник, речь звучащая и немая, слышимая и неслышная, начинающаяся и заканчивающаяся, не только имеет форму судебного процесса или слушанья по делу; она также имеет глубинную связь с вопросом о том, что вещи собой представляют, или скорее – как они реагируют на уже выдвинутые заявления. <...>

Как достичь

отстраненности

Вернемся теперь на правый берег, пересечем внутренний двор Лувра и возвратимся в Пале-Рояль с его золотым орнаментом и мрамором, его грандиозной лестничной клеткой, его историческими полотнами и республиканскими фресками. <...> Мы оставили позади милый бардак лаборатории, с ее скомканными журналами, коробками с образцами, трубочками для подачи жидкости, урчащими центрифугами, корзинами для мусора, повышенными голосами и всеобщим беспокойством, которое предшествует проведению важного эксперимента, сопутствует ему и сохраняется после его завершения. Вообще говоря, в Совете тоже можно найти кое-какой беспорядок, но его место строго ограничено пространством столов, заваленных грудями файлов, из-за которых едва выглядывают головы официально, но элегантно одетых советников. Так или иначе, этот беспорядок имеет лишь временный характер, потому что внутри каждого файла царит идеальный порядок, предписанный планом следствия (*plan d'instruction*), который требует, чтобы каждый параграф был расположен, озаглавлен и заверен в соответствии со строго определенным алгоритмом, любое отклонение от которого делает весь процесс недействительным.

<...> Лабораторию никогда не удалось бы описать с помощью такого точного, определенного, выверенного и однородного набора

параметров, каким являются номер, тип и местоположение файлов Совета. Здесь ни одно заявление не войдет в гладкую закрытую картонную папку, такую транспортабельную, содержащую все, что нужно, и образующую целый отдельный мирок, рамками которого судья обязан ограничиваться под страхом наказания. Работа в лаборатории во всех отношениях выходит за границы лабораторного журнала, она зависит от будущих действий коллег, от прогресса технологии, от сложных интертекстуальных взаимосвязей, образуемых за счет сносок и цитат, от промышленного производства и реакции публики. Только трюкачи-наукометристы умудрились описать лабораторию в более или менее когерентных и унифицированных терминах¹¹. И наоборот, в самом по себе досье, в том, как его закрывают, должно быть что-то такое, что составляет суть отличия закона от науки.

Чтобы понять это отличие, необходимо взглянуть на досье в контексте отношения к нему тех членов Совета, которые анализируют, пополняют и обсуждают его. Первое, что немедленно поражает пришедшего из лаборатории этнографа, это безразличие, с которым советники относятся к лежащим перед ним документам. В лаборатории России написание текста всегда было крайне волнительным моментом; переписывая статьи перед тем, как их опубликовать, исследователи устраивали жаркие споры по поводу того, что можно, а что нельзя говорить, как далеко можно зайти, не заходя слишком далеко, о чем стоит умолчать из тактических или политических соображений. Они больше походили на адвокатов, ведущих дело от лица своих клиентов, чем на судей, составляющих приговоры. Напротив, советники, как правило, безразличны к своим досье, и это безразличие подчеркивается гримасами на лицах, зевками, забывчивостью, целой *hexis*¹² незаинтересованности, которая так остро контрастирует с обязательством ученых быть целиком, глубоко и страстно вовлеченными в свои наблюдения за фактами. <...>

В ходе судебных процедур Государственного Совета можно обнаружить, особенно на фоне вовлеченности ученых, множество микропроцедур, которые позволяют достичь отстраненности и уберечь от сомнений.

Докладчик

Когда во время следственного заседания (*séance d'instruction*) докладчика (*rapporteur*) попросят заново зачитать его записи, он не будет их помнить, ведь прошло несколько месяцев с тех пор, как он изучил досье¹³. Вообразите, в какое замешательство придет ученый, если его попросят представить исследовательский отчет, который он написал шесть месяцев или год назад, который с тех пор не перечитывал, и содержание которого полностью забыл. Что было бы еще поразительнее, так это то, если бы в процессе изначального изучения дела докладчик подготовил два эскиза постановления (*projets de jugement*), один – в пользу отклонения ходатайства, и другой – аннулирующий первый, на случай, если коллеги не примут его рассуждений. Таким образом, он не просто ничего не помнил бы о деле, но еще и отправлялся на слушание, подготовившись к одному его ходу... и к противоположному. Для ученого это было бы скандалом; как если бы он в последний момент, в свете реакции коллег на его выступление, решал, имело ли место описанное им явление или нет; что означало бы подготовку двух статей, двух афиш, двух презентаций, по одной в пользу его существования, и по одной – против. Worse того, когда дискуссия окончена, предсе-

11

Callon M. Jean-Pierre Courtial et al // *La scientométrie*. Paris: Presses Universitaires de France, 1993. №2727.

12

Hexis (греч.) – «навык», «опытность», «сноровка» (прим. пер.).

13

Следственное заседание предшествует судебному совещанию; строго говоря, это репетиция доводов перед тем, как дело будет представлено на всеобщее рассмотрение.

датель собрания мог бы попросить докладчика подготовить третий эскиз. И, не думая обижаться и расценивать это как предательство, докладчик любезно взялся бы за работу, немедленно приступив к написанию эскиза постановления, которое могло бы быть даже прямо противоположным тому, в пользу которого он выступил бы сам. Ученый убил бы себя об стену, если бы от него потребовали написать статью, противоречащую его собственным убеждениям, на основании того, что коллеги из его исследовательской команды пришли к консенсусу, противоречащему этим убеждениям. Он бы настаивал на том, чтобы именно его непопулярное мнение было представлено в итоговом отчете, и он ушел бы, хлопнув дверью, если бы его не послушали. В любом случае, для него это было бы делом совести. Это говорит не о том, что у судей нет совести, а лишь о том, что они оставляют ее угрызения за стенами суда. <...>

Слушатель

Нигде контраст не проявляется более явно, чем на той стадии процесса, когда слушатель (*réviseur*) заново представляет заметки докладчика по поводу разбираемого дела. С точки зрения ученого эта процедура совершенно абсурдна. Потратив всего полчаса и выслушав кого-то, читающего монотонным голосом текст, где объясняется суть всего дела, слушатель (он занимает в иерархии Совета более высокую ступень) принимается за пересказ истории с самого начала, на этот раз в устной форме. Тем не менее повторное прослушивание (*révision*) является существенным моментом судебного процесса, потому что слушатель – это единственный, кто день или два назад перечитал досье и кто держит в голове все детали дела. Никто из остальных участников не знаком с делом, и никто из них ни будет читать досье снова, за исключением комиссара (*commissaire*) (см. ниже), который впоследствии ознакомится с делом впервые. Это еще одна процедура, которая в науке показала бы неуемность: чем дальше продвигается дело, чем больше оно затягивается или поднимается вверх по судебным инстанциям, тем чаще оно попадает к людям, которые дистанцированы от дела и ничего о нем не знают. Это как если бы ученый, чтобы выдвинуть новое заявление по поводу вызвавшего разногласия открытия, обращался за советом к людям, все менее и менее компетентным в специфических аспектах предмета.

Но, конечно же, процедура повторного прослушивания не является ни причудливой, ни такой уж нелепой. Важно понимать, что вовсе не информация является предметом всеобщего внимания; судьи не устанавливают частных деталей дела; повторное изложение слушателя – это больше чем простой пересказ. Под видом простого пересказа слушатель существенным образом преобразует дело, изменяя относительные пропорции его фактической и правовой сторон: в его изложении сугубо правовые вопросы акцентируются сильнее, чем в изначальном послании. Частности данного дела менее важны, чем то, под какой пункт закона оно подпадает или какие изменения в административном праве оно вызвало. Таким образом, слушатель меньше говорит о фактах (то есть меньше, чем докладчик, который, в свою очередь, говорит о них меньше, чем адвокат, который – меньше, чем истец, который, конечно, говорит главным образом о фактах) и больше – о законе. Когда решение будет вынесено, не останется ничего, кроме знаменитого зеленого бланка, в котором все дело суммируется в одном предложении, например: «Если орган префек-

туры отказывается признать аннулирование лицензии на разработку карьера, которое было осуществлено в соответствии со статьей 106 горного кодекса, может ли данное предписание быть пересмотрено на основании того, что оно *ultra vires*?»¹⁴ От конкретного дела, подробные факты которого можно обнаружить, лишь отыскав его в компьютерной базе данных, не остается ничего. Не существует дорожки, ведущей от зеленого бланка к детальной картине дела, и все-таки для судей, которым адресовано это лаконичное предложение, суть пережитого кем-то опыта суммируется в одном предложении.

Возможно, слово «факт», используемое одновременно в науке и праве, ввело нас в заблуждение, когда мы делали свое сравнение, ведь оно столь по-разному используется в двух областях, что кажется, будто речь идет о двух омонимах или «ложных друзьях» (*faux-amis*). «Факты» в юридическом деле образуют замкнутое множество, которое, в результате простого соблюдения пунктов плана, вскоре перестает подлежать сомнению, и к которому исчезает необходимость возвращаться. Факты — это такие вещи, от которых пытаются как можно скорее избавиться, чтобы перейти к другим вещам, а именно, к пунктам закона, которые представляют интерес и которые далее попадут в сферу внимания судей. С другой стороны, в лаборатории «факт» играет две в чем-то противоположные роли: это одновременно то, о чем говорят, и то, что определяет истинность говоримого о нем. Таким образом, никому никогда не дано по-настоящему избавиться от фактов, чтобы перейти к чему-то более важному. Если, конечно, не путать лабораторные факты, как я их описал, с «чувственными данными» эмпиризма (основанного Локком и Юмом по соображениям, скорее, политическим, нежели эпистемологическим), где «чувственные данные» являются неоспоримой основой нашей чувственности и комбинируются человеческим разумом таким образом, что получают более общие идеи. Но следует заметить, что то понятие факта, с помощью которого проводится данное различие между тем, что подлежит дискуссии, и тем, что ей не подлежит, не имеет ничего общего с тем, какую роль «факт» играет в речи исследователей. Это понятие позаимствовано, скорее, из права, чем из науки¹⁵. <...>

Правительственный комиссар

Существует еще одна микропроцедура, благодаря которой даже самые предвзятые, страстные и пронырливые советники делаются безразличными, объективными, честными и бесстрастными. Можно ли представить в науке кого-либо наподобие правительственного комиссара (*commissaire du gouvernement*)¹⁶, который лишь делает записи, сохраняя в течение всего следственного заседания полное молчание? Кто этот человек? <...> Ему доверена особая задача по контролю качества: он прослеживает то, какое направление ход дела получает в результате действий истца, адвокатов, судей первой инстанции, докладчика (*rapporteur*) и слушателя (*reviseur*), а затем приступает к пересмотру всего обширного двухвекового свода административного права, чтобы убедиться, что все должным образом связано воедино. Именно он удостоверяется в том, что все связано и согласовано, благодаря чему его коллеги могут быть уверены, что, добавляя ежедневно к корпусу текстов все новые документы, они никоим образом не искажают административное законодательство. Молчание правительственного советника на протяжении

14
Ultra vires (лат.) — «вне компетенции», «за пределами полномочий» (прим. пер.).

15
Poovey M. History of the Modern Fact: Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society. Chicago: University Press, 1999.

16
В английском слово «commissar» сбивает с толку еще сильнее, чем во французском. Правительственный «комиссар» — точная противоположность комиссара, посланного правительством (!), так как первый полностью независим. Слово сохранилось по причине странного правового консерватизма.

всего следственного заседания, официальное чтение им своего заключения во время судебного слушания (*audience*), снова молчание на стадии совещания (в процессе которого, напомним, судьи не обязаны принимать его рассуждений), затем публикация его заключения отдельно от судебного решения, которое может как отличаться от него, так и нет, — все это функционирует как совокупность механизмов, специально введенных Государственным Советом для достижения такого рода отстраненности, которая в науке выглядела бы нелепо, если не смехотворно.

Воспроизвести функции правительственного советника в научной среде означало бы возложить на кого-то из ученых совершенно непосильную обязанность пересматривать всю свою дисциплину от самых ее основ, проверяя ее на предмет согласованности и соответствия фактам, и лишь затем делать официальные заявления о существовании или несуществовании изучаемого феномена. И это при том, что окончательное решение выносил бы кто-то другой, а наш ученый вынужден был бы работать в одиночку, полагаясь лишь на собственные знания и на свою совесть и довольствуясь независимыми публикациями своих заключений. <...>

Правительственный советник напоминает ученого только тем, что он говорит и публикуется от своего собственного имени; и точно так же, что-то от правительственного советника есть в каждом ученом, рассматривающем себя как просветителя. Фигура правительственного советника, таким образом, представляет собой причудливый и сложный гибрид: в ней чувствуется что-то от суверенности *lex animata*, закона, воплощенного в отдельном человеке; однако в рассматриваемом нами случае только сам данный человек этим законом и связан (тогда как в древнем мире последнее слово всегда оставалось за правителем). Но зачем же нужен такой «закон»? В чем его функция? Он дает остальным юристам повод сомневаться, тем самым, не позволяя им отделаться найденным на скорую руку решением или легко достигнутым консенсусом. В этом смысле он — воздушонепроницаемая комната, куда не должна проникнуть достоверность, запрет на избегание соглашения, препятствие, умышленно поставленное на пути судебного разбирательства, песчинка, застрявшая в зубах; иногда он доводит до скандала, но во всех без исключения случаях действует раздражителем и оказывает сопротивление. Правительственный советник — самый специфический пример инстанции, призванной производить возражения (*objections*), производя тем самым объективность (*objectivity*). <...>

Вынесение решения

<...> Нудная череда обзоров и пересмотров, дотошные сверки бюрократических штампов и очередные повторения все тех же преамбул — все это служит гарантией того, что хромое и незрячее правосудие сумеет пройти по узкой дорожке прямо к единственному правильному решению. Все эти процедуры, обеспечивающие отстраненность, гарантируют, что правовая деятельность осуществляется при всем подобающем сомнении; что же касается лабораторной деятельности, практически вся она имеет своей целью достичь достоверности настолько быстро, насколько возможно. Фемида держит в руке весы не потому, что стремится взвесить все абсолютно точно, а просто потому, что равновесие было нарушено.

<...> В Государственном Совете делается все возможное для поддержания сомнения, но когда решение принято — оно принято

раз и навсегда. В лаборатории же делается все возможное для достижения достоверности, но когда все кончено, сомнения остаются у других, у коллег — как предмет для будущего обсуждения, как движущая сила науки, как возможность для оценки истинности сказанного. В праве обнаруживается совершенно противоположный подход: в какой-то момент, после месяцев или лет ожидания, приходит время закрыть дело. И это не просто возможность, это судебская обязанность, предписываемая ему законом: судья должен вынести решение, иначе — он злоупотребляет своими полномочиями. Хотя он создал все возможные препятствия, чтобы замедлить процесс, чтобы соблюсти все формальности, обеспечить коллегиальность, убедиться в собственном безразличии и отстраненности, теперь решение должно быть вынесено. В этом цель процесса совещания. Единственный способ избежать решения — вынести вердикт, что решение не может быть принято единолично, что дело настолько серьезное, что необходимо отправить его на рассмотрение более высокой инстанции¹⁷. Но и подобная смена курса лишь отсрочит неизбежное. Решение будет, в конце концов, вынесено Государственным Советом. Он — суд последней инстанции. Единственный способ избежать от необходимости выносить решение — вынести решение.

Лаборатория устроена противоположным образом: там тоже нужно преодолеть множество препятствий, но возникают они из необходимости прикрыть тыл, собрать как можно больше данных, подтвердить гипотезы, предупредить будущие возражения, выбрать лучшее оборудование, задействовать лучших специалистов. И вот, когда собраны самые боеспособные аргументы, когда статья написана и выбран лучший журнал, когда тонко организована утечка информации в прессу, затем вдруг, в последний момент... да нет никакого последнего момента! Вложив столько страсти, столько усилий в поиск истины, исследователь теперь не могут контролировать судьбу сделанных ими заявлений и беспечно предоставляют другим возможность заниматься их проверкой. «Скоро мы услышим их реакцию; и будущее покажет, правы мы или нет». <...> Собрав доказательства собственной сдержанности и непредвзятости, судьи вдруг с величайшим высокомерием, с яростью суверена, выносят окончательное решение. Ученые же, удовлетворив свою страсть к знаниям и претензии на достоверность, вдруг становятся тихими и скромными, покорно подчиняя себя остальным.

Цепочка отсылок и цепочка обязательств

Но, различив страсть, с одной стороны, и отстраненность, с другой, интерес ученого и незаинтересованность юриста, скромность и авторитетность, закрытость и открытость, — мы сделали лишь поверхностное сравнение, относящееся к неопределенной области между психологией и этологией, между формальной процедурой и сутью дела. Чтобы сделать более глубоким наш анализ, цель которого — провести различие научной и правовой деятельности, которые так часто смешиваются, мы теперь должны, рискуя утомить читателя, очертить контуры этих двух форм изложения еще более тщательно, выявив различия между цепочками отсылок, которые так хорошо изучены антропологами науки, и правовыми цепочками отсылок, описать которые нелегко¹⁸. Тем не менее эта задача не является невыполнимой, так как проследить эти два способа установления отношений можно, обратив внимание на то, каким образом

17

В Государственном Совете есть пять различных уровней инстанций, рассматривающих разные дела в зависимости от степени важности. Совет может быть и первой инстанцией, и последней, в зависимости от предмета обсуждения (чего мы не наблюдаем в англосаксонской системе). Он, кроме того, занимает место на вершине длинной лестницы административных трибуналов, как низших инстанций, так и апелляционных судов.

18

О цепочках ссылок см.: Latour B. Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

осуществляется производство и обработка документации. И если в первом случае речь идет об отношениях между массивами информации, то во втором — о том, что можно назвать отношениями обязательств. Что имеется в виду? Я попробую описать, с одной стороны, в какие отношения вступают различные носители информации в ходе эксперимента, а с другой — что происходит с досье в ходе раскрытия юридической подоплеки дела. Мое предположение состоит в том, что многие из ранее сделанных поверхностных наблюдений объясняются различиями между этими двумя способами обращения.

Перед тем как перейти к исследованию этих различий, мы должны вспомнить общий корень и правовой, и научной деятельности — то умение, которое, передаваясь в поколениях, все еще составляет основу того, чему должен обучиться как ученый, так и юрист, а именно, искусство манипуляции с текстами или записями в целом, которые собираются в замкнутом пространстве, прежде чем подвергнуться тонкой экзегезе, цель которой — их классификация и критика, установление их роли и иерархии. Представителям обоих видов деятельности эти тексты и записи замещают внешний мир, который сам по себе непостижим. И для юриста, и для ученого возможность уверенно говорить о мире возникает только тогда, когда он трансформирован — словом ли Божьим, математическим ли кодом, показаниями приборов, устами предшественников, естественным или позитивным законом — в Великую Книгу, которая в равной степени может быть как книгой природы, так и книгой культуры, и страницы которой были порваны или перепутаны каким-нибудь приспешником дьявола, а сейчас они должны быть собраны, истолкованы, отредактированы и шиты заново. С учеными, как и с судьями, мы оказываемся во вселенной текстов, которая, с одной стороны, связана с самой реальностью так тесно, что может замещать ее, но с другой — непостижима без непрерывной интерпретации¹⁹. И в мире ученых, и в мире юристов эта непрекращающаяся деятельность порождает все новые тексты, качество, порядок и согласованность которых парадоксальным образом увеличивают сложность, беспорядок и бессвязность корпуса текстов, который они оставляют своим преемникам, вновь принимающимся за этот труд Сизифа или Пенелопы. Сшивать, ткать, пересматривать, изменять экзегезу — вот из каких занятий произошли как наука, так и право.

<...> Однако, тогда как в Государственном Совете процесс письма всегда на первом плане, то в лаборатории, например в той, где работает Россье, письмо всегда воспринимается как довесок к научной работе, если не как грязная ее часть. <...> Большинство лабораторных работников были бы удивлены, обнаружив они, что их деятельность описывают как экзегетическую работу. Пока все эти особенности не были открыты антропологами науки, научные тексты воспринимались как не более чем средство доставки информации, единственным положительным качеством которого могла быть ясность, а единственным пороком — неясность. Для того чтобы воссоединить науку с ее античными корнями, эти тексты необходимо рассмотреть в свете особенностей устройства лабораторных приборов и важной роли взаимного цитирования. Только тогда научные авторы вновь предстанут перед нами герменевтами, писателями или филологами, с той лишь разницей, что сравниваемые ими тексты содержат в себе доказательства, извлеченные из явлений, подвергнутых экспериментальной проверке. Советники, с другой стороны, постоянно обсуждают, что и как они пишут, и часто изъясняются трафаретными,

19

Это главная тема Pierre Legendre от «L'empire de la vérité: introduction aux espaces dogmatiques industriels» (Lecçons II) (Fayard, Paris, 1983) до «Sur la question dogmatique en Occident» (Fayard, Paris, 1999).

составленными из цитат фразами. Для них текст никогда не является просто средством передачи информации и никогда не оценивается исключительно на основании критериев ясности; в самом деле, сказанное станет вполне очевидным, стоит лишь прочесть что-либо из ими написанного!

<...> Научные тексты, как я уже замечал, не похожи ни на вымышленные высказывания, столь любимые специалистами по риторике или философии языка («вода кипит при 100 градусах»), ни на юридические утверждения («решение Административного суда Гренобля от 17 апреля 1992 сим отменяется»). В отличие от справочников и энциклопедий, с которыми их часто путают, научные или исследовательские тексты, возникая непосредственно в лабораториях, имеют дело не столько с фактами, которые нужно описать, сколько с той глубинной трансформацией, которую, в действительности, нельзя описать словом «информация». Нельзя, по крайней мере до тех пор, пока мы не уясним себе этимологию этого последнего термина (который, на самом деле, означает «быть помещенным внутрь формы») и не начнем понимать его совершенно буквально, или материально, как нечто, состоящее из графиков, уравнений или таблиц. Никакая информация не может быть получена прежде, чем пройдена последовательность такого рода трансформаций²⁰. Более того, ни одна научная статья не обходится лишь одним таким переносом, лишь одной репрезентацией материала в форме графика; напротив, на ее пространстве размещаются сразу дюжины их, связанные друг с другом в определенном порядке, так, чтобы создать настоящую драму мыслительного процесса, цепочку рассуждений, каждое из которых ненадежно, в том смысле, что стремится вобрать все релевантные аспекты предыдущего и, одновременно, тщательно модифицировать их, с целью придать дополнительные силы данной теории, формуле или интерпретации. И, наконец, как я уже показал выше, весь этот процесс трансформации принимает форму заявления, или ходатайства, которое отличается высокой вероятностью провала и ненадежностью, и которое автор вбрасывает в поток уже существующих публикаций²¹. Свое истинностное значение высказывание получит лишь ретроспективно, в зависимости от того, как оно будет воспринято, оказавшись в руках других авторов — как его сторонников, так и противников.

Такого рода текст, в котором, словно в алхимической реторте, смешаны отдельные фрагменты и трансформации, имеет с расхожим представлением о «высказываниях о фактах» не больше общего, чем с правовыми документами. И если рассматривать тот крайне специфический (но не определяющий) вид деятельности, который можно обнаружить в лабораториях, — создание грозного нагромождения цепочек ссылок, то и в судебных досье можно будет обнаружить многочисленные следы этого процесса, которым, правда, определяются далеко не все юридические реалии, а лишь отдельные их сегменты (в то время как в остальных ведущую роль играют специфически правовые формы деятельности). Например, на вопрос о том, была ли карта приложена к досье, можно ответить, просто указав на досье. Либо можно посмотреть, имело ли место решение суда приложить карту в виду ее релевантности²². В этом случае, мы отказываемся от одного способа формирования цепочки отсылок в пользу другого, который нам еще лишь предстоит описать.

Различие между правом и наукой станет совершенно ясным, если мы столкнем друг с другом эти два способа. К примеру, если в ходе

20
Lynch M., Woolgar S. (eds.).
Representation in Scientific
Practice. Cambridge: MIT
Press, 1990.

21
Классический анализ всей
этой алхимии см.: Fleck L.
Genesis and Development of
a Scientific Fact. Chicago:
University of Chicago Press,
1935.

22
В одном из своих решений
Совет постановил, что карта
для санкции на строительство
«должна считаться» прикре-
пленной к материалам дела —
даже если физически она не
представлена в приложении —
при условии, что с ней можно
свериться в муниципалитете.

слушания возникает вопрос, была ли отправлена расписка в получении денег, и в деле содержится нужная почтовая форма, подписанная и датированная истцом, то достоверность этой ссылки не вызовет никаких вопросов. Сходным образом, у собрания не возникнет сомнений в факте совершенной кандидатом накануне выборов клеветы на своего оппонента, если к досье прикреплена копия соответствующей агитационной листовки. Не вызовет подозрений и прикрепленный к досье аэрофотоснимок, позволяющий установить, полностью ли парк окружен стеной, или нет. Судьи прослеживают всю короткую цепочку отсылок, наслаивая, подобно геологам, географам или геодезистам, один пласт документации на другой. Эти совершенно различные с точки зрения характера материала чертежи, фотографии, графики и планы идентичны в том, что позволяют (в глазах судей) в череде трансформаций сохранять информацию нетронутой. <...> Когда судья говорит, что в документах не содержится ничего, что говорило бы, что депортированный из Франции иностранец имел рожденных во Франции детей, он исходит из дискуссионной логики рассмотрения дела и довольствуется тем, что защита не приводила доводов в опровержение данного факта: «Это положение не опротестовывалось» — произносит он, дабы зафиксировать его несомненность. Такого рода процедура, требующая строго придерживаться данных в той форме, в какой они изложены в досье, заставила бы ученого похолодеть. Он, так же как и его критик-юрист, потребовал бы более прямого, насыщенного и живого контакта с реальностью: «Оставим, наконец, документы и посмотрим, что же происходит в действительности, займемся полевыми исследованиями, опросами свидетелей, забудем жалкие доводы юристов, вырвемся из смиренной рубашки бумажного мира, не дающей нам уловить реальность!» Дело в том, что исследователь путает дополнительное расследование (supplément d'instruction) с судебным процессом. Его вечная цель — знать больше, чем он знает сейчас, и поэтому он думает, будто существует двусторонняя дорога, ведущая от офиса Совета к фактам и обратно и позволяющая постоянно переносить информацию (должным образом, трансформируя ее) все более высокого качества. Но работай юристы таким образом, они лишь накапливали бы все больше и больше информации, так и не приближаясь к вынесению решения. Процесс расследования раздулся бы до ужасающих масштабов, а никакого решения никогда не было бы принято. Фактически целью суда стало бы исследование, а не принятие решений.

<...> Что для судьи было бы самым страшным провалом, ученым рассматривалось бы как большая удача; да, для него единственный способ достичь точности — все больше и больше дистанцироваться от прямого контакта. И то, что ученый рассматривает как самый большой недостаток права, звучит как комплимент для советников: они твердо держатся того, что можно извлечь из досье, ничего не пропуская и не добавляя лишнего. Таким образом, у нас есть два различных представления о точности и таланте, или о добросовестности и профессионализме.

Могли бы возразить, что различия права и науки крайне незначительны по сравнению с тем, что между ними есть общего, а именно — тенденцией редуцировать весь мир к записям на бумаге. С этой, чрезмерно обобщающей, точки зрения методы работы с данными, что в науке, что в праве, напоминают запихивание одеяла в почтовый конверт. Но ведь перед нами два очень разных способа редукции, и главная цель этого раздела — показать, в чем их различие. <...>

Цель редукции в праве – как можно быстрее установить перечень неоспоримых фактов (то есть, попросту говоря, таких, которые не вызывают возражений со стороны защиты), подвести их под те или иные законы (которые, на деле, представляют собой тексты), чтобы затем сформировать решение (которое в реальности представляет собой указ, то есть текст). Редукция в науке ведет к той же самой поразительной экономии, ведь посредством нее богатство и многообразие мира во всех его измерениях заменяется текстами на бумаге. Но этот подход – принципиально иной, ведь здесь, обладая листом бумаги, документом или картой, всегда можно восстановить все пройденные шаги и, возвратившись на землю, вновь напасть на след, найти дорожные указатели и геодезические вехи, выбрать более верную перспективу и точнее замерить угол. На каждой стадии своих рассуждений исследователь твердо держится за звенья этой цепи, состоящей из приборов, графиков, угломерных инструментов, маркеров, классификаций и измерений, что позволяет выстраивать рассуждения таким образом, как если бы они всегда двигались лишь от подобного к подобному, оставаясь над бездной трансформаций, которые претерпевает предмет исследования.

Но в праве, даже когда к рассмотрению привлекается прецедент или похожее дело, связь не бывает прочной и однозначной. Если докладчик (*rapporteur*) говорит: «Один из доводов нарушает установленную процедуру в виду того, что план не был ни подписан, ни пронумерован судебным следователем (*commissaire enquêteur*); заявление не подкреплено фактами, потому что, хотя документы и подписаны на каждой второй странице, это не может приниматься всерьез, так как в деле неподписанный лист должен рассматриваться как сфальсифицированный», – все то, на что он ссылается, обсновывая свое мнение о подлинности подписи, незамедлительно будет отвергнуто или, точнее, замещено правовым определением «листа». Сослаться на него – тоже означает проследить некую цепочку шагов, но в данном случае факты связываются посредством нее с тем, что юристы называют «квалификацией»: «является ли это листом в том смысле, в каком данный термин используется в статьях 13-25 процессуального кодекса декларации общественной полезности?» (*declaration d'utilite publique*). Тот, кто держит в руках карту, держит в руках и саму местность, или, по крайней мере, пропуск на проезд по ведущей туда двухсторонней дороге, который позволит ему, в случае необходимости, вернуться и узнать нечто новое. Для того, кто держит в руках досье, установлена связь, означающая, что ему больше не потребуется возвращаться к фактам, и, покончив с их изучением, он сможет вынести бесспорное решение.

<...> Последовать цепочкой отсылок – значит подойти к вещам совершенно не так, как это делается в судебном досье. Череда трансформаций, посредством которой создается информация, устроена так, чтобы заставить участников процесса произвести редчайший из товаров: новую информацию о свежевыкованной сущности, вступившей в контакт с наукой; о сущности, которую необходимо распознать, учесть, определить и квалифицировать таким образом, что когда все эти требуемые операции будут проделаны, к ним всегда можно будет вернуться, чтобы получить дополнительную информацию или свежие знания, – пока, в конце концов, исследуемая сущность не будет так тщательно концептуализирована, понята, воспитана, приручена и усвоена, что ее можно будет положить в «черный ящик» и рассматривать как нечто хорошо известное, пригодное

играть в новых дискуссиях и экспериментах роль допущения. Эта динамика познавательного процесса конструирует мир через совокупности двусторонних дорожек, которыми, в конечном счете, наполняется вся подлежащая картографированию местность, что позволяет соединить два типа данных внутри единого дискурса об истине. <...>

Res judicata pro veritate habetur²³

Ничто не связывает нас по рукам и ногам сильнее, чем правовые обязательства или достоверное знание фактов. Именно это заставило меня проделать такое, подчас смелое, сравнение двух видов деятельности, которые, хотя они и полностью различны, оба отличаются тем, что тонкие и замысловатые особенности их функционирования неведомы широкой публике. Однако, как мы уже видели, в популярном представлении о науке и праве черты этих двух видов деятельности смешаны до такой степени, что, опираясь на него, пытаться проделать такое сравнение бессмысленно. <...>

Большинство характеристик, обычно приписываемых ученым, на самом деле срисованы с микропроцедур, разработанных юристами с целью создания этоса незаинтересованного стороннего наблюдателя²⁴. Равнодушие к итоговому результату, дистанция между разумом и объектом, хладнокровная строгость суждений – одним словом, все, что у нас ассоциируется с объективностью, является неотъемлемой частью не лабораторных исследований, а судебных процедур. Более того, мы должны отличать объективность, как основу безразличия и беспристрастности, от того, что может быть названо «объектностью»: ордалии, с помощью которой ученый связывает судьбу, как свою собственную, так и своей речи, с теми испытаниями, которые претерпевают исследуемые явления в ходе эксперимента.

В то время как объективность имеет отношение к субъекту и его внутреннему состоянию, объектность относится к объекту и его специфической судейской роли. Произнося одну и ту же фразу – «он мыслит объективно» – могут, таким образом, иметь в виду две различные добродетели. Одна из них сводится, по сути, к набору чисто субъективных качеств (отстраненность, беспристрастность, незаинтересованность). Вторая же является довольно специфической формой субъективации, в ходе которой исследователь подчиняет (*subjects*) себя экспериментальному объекту. Но когда здравый смысл заставляет нас восхищаться объективностью ученых, то не потому ли это происходит, что последние, по сути, выступают судьями? И когда, с другой стороны, тот же самый здравый смысл заставляет нас негодовать по поводу ненадежности юристов, – то не потому ли, что они, по сути, работают с того же рода объектами, что и лабораторные исследователи?

Удивительно, но юридическая объективность в буквальном смысле без-объектна, она всецело является продуктом некоторых ментальных процессов, телесной *hexis*, однако при этом она до сих пор не может отказаться от своего права выносить решения, апеллируя к неопровержимым фактам. Она, вследствие этого, полностью зависит от качества речи, манер, одежды, формы изложения и, таким образом, от всех тех внешних проявлений, которые осмеивались еще со времен Паскаля, – при этом не учитывалось, что внимание к внешним проявлениям само по себе есть форма объективности, недоступная ученым. Ученые говорят невнятно о конкретных объектах, юристы же говорят о туманных объектах, но в точных терминах.

23

Res judicata pro veritate habetur (лат.) – «судебное решение должно приниматься за истину» (прим. пер.).

24

По причинам, обозначенным в работе: Shapin S., Schaffer S. *Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle and the Experimental Life*. Princeton: Princeton University Press, 1985.

Так происходит потому, что для судей нет вышестоящего органа, на который они могли бы переложить задачу вынесения решения (если, конечно, они не судьи первой инстанции). Научная объектность, с другой стороны, отличается тем, что она бес-субъектна, поскольку приспособляется к любым душевным состояниям, ко всем видам пороков, страстей, дефектов речи или познавательных ограничений. Какими бы нечестными, невоздержанными, поспешными и пристрастными ни были исследователи, в их исследованиях никогда не будет отсутствовать объект. Над каждым из них, подобно дамоклову мечу, висят факты — или, скорее, даже некий странный гибрид, возникший в результате столкновения бесспорных фактов и спорящих коллег — и этой угрозы достаточно, чтобы призвать к порядку даже самых пристрастных или нечестных. В работе исследователей всегда присутствует некий вышестоящий третий объект, призванный быть судьей и принимать решения от их имени; ему они передают право выносить суждения, не оглядываясь на то, «объективен» ли тот или иной исследователь по своему собственному мнению²⁵. Что же касается судей, никто третий не может судить от их имени, и для них единственный способ достичь «объективности» — сконструировать сложный и изолированный институт по ограждению и отстранению процесса вынесения окончательного решения от вопросов совести.

Выяснив, что объективность судей — форма субъективности, а объектность ученых основана на гарантии наличия объекта, мы можем теперь перейти ко второй характерной черте, которую здравому смыслу свойственно из мира закона переносить в мир науки, а именно, к праву последнего слова. Появление такого персонажа как свидетель-эксперт способствовало смешению двух совершенно противоположных функций, поскольку предполагало, что ученый, оставив свои обычные занятия, садится в кресло судьи Верховного суда: его свидетельства приобретают неоспоримый авторитет фактов, установленный судом (*res judicata*). Но между экспертом и исследователем существует различие²⁶. Для последней не существует неопровержимых фактов, раз и навсегда «установленных судом» науки. <...> В науке неоспоримость — это всегда лишь высшая точка того движения, посредством которого постоянно возобновляется игра трансформации/информации. Если дискуссия подходит к концу, то лишь для того, чтобы началась новая фаза бурного обсуждения сущностей, только что получивших право на существование. Когда ученого-эксперта наделяют властью принять или не принять решение, он, по сути, становится обладателем такого рода суверенности, которая возможна только в сфере права.

<...> Фигура эксперта не имеет отношения ни к модели научного исследования, когда результатом является возобновление слишком быстро прекращенной дискуссии, ни к модели судебного разбирательства, поскольку последняя требует не какого-то трансцендентного результата, а всего лишь завершения дискуссии. Такого рода имманентность проявляется в конструктивном, или даже конструктивистском, способе решения проблемы, при котором мы просто исходим из того, что над нами никто не стоит и что само по себе наше решение (которое по-французски звучит как *arrêt*, т.е. остановка) будет означать завершение дела. То, что мы знаем, не требует дальнейшего обсуждения: наоборот, мы знаем это именно потому, что обсуждение исчерпано. Больше некуда апеллировать. Это — конец. <...> В этой модели можно усмотреть известную концепцию «социального конструирования», призрак, призванного социологами,

25

Согласно формулировке Isabelle Stengers, (*L'invention des sciences modernes*. Paris: La Découverte, 1993. P. 102) «эксперимент — это создание власти наделять вещи властью наделять экспериментатора властью говорить от их имени». См. также: Stengers I. *The Invention of Modern Science*. University of Minnesota Press, 2000.

26

Для разъяснения вышеупомянутого отличия см.: Callon M., Lascoumes P., Barthe Y. *Agir dans un monde incertain: essai sur la démocratie technique*. Paris: Le Seuil, 2001. См. также: Jasanoff S. *The Fifth Branch: Science Advisers as Policymakers*. Cambridge: Harvard University Press, 1990.

чтобы запугивать эпистемологов тем, что все поиски истины заканчиваются в запертой комнате, где на тайном голосовании принимается решение о том, что именно с этого момента будет приниматься за истину. Но подобно тому, как свидетельства эксперта не имеют ничего общего с реальной научной работой, так и возведенная за закрытыми дверями идея социального конструирования не имеет ничего общего с реальной юридической практикой.

В очередной раз нам становятся очевидными преимущества того, чтобы не смешивать отдельные черты двух совершенно разных форм изложения. Если, с одной стороны, ученые могут предаваться своим эмоциям, быть пристрастными или предвзятыми, поскольку лабораторный объект занимает то же место, что и юридический текст или прецедент, имеющий обязательную силу, то, с другой стороны, юристы, наоборот, могут производить фикции и предлагать так называемые «конструктивные решения», поскольку именно в решениях, которые они выносят, отсутствует как объект, так и объектность. Что так сильно шокирует в фантазматическом образе «социального конструирования», так это то, что правовая модель принятия решений используется здесь для описания научных объектов: в результате, особое мастерство вынесения судебных приговоров превращается в циничный кошмар самоуправления. Но задача состоит как раз в том, чтобы избежать смешивания этих двух моделей. На самом деле, предпринятая мной попытка прояснения нацелена на то, чтобы забрать у науки право последнего слова, которым она была наделена по ошибке или малодушию, и тем самым воодушевить ее на дальнейшее конструирование тех цепочек ссылок, посредством непрерывного движения которых ее здание наполняется все более и более надежной, точной и пригодной для поддержания дискуссии информацией. С другой стороны, если правовая форма изложения перестанет рассматриваться как средство поставки информации и представления истины (что, на самом деле, невыполнимо для нее), она сможет свободно циркулировать по тонким каналам того крайне специфического приспособления, которое только и способно осуществлять перевозку и доставку бесценных грузов, известных нам как «доводы» (*moens*), «квалификации», «обязательства» и «решения».

Было бы, однако, неправильно резко противопоставлять друг другу науку — как поставленную перед лицом неуловимой реальности, которая противится всем нашим попыткам манипуляции ею и которой нельзя вертеть, как хочется, — и право, которое, существует исключительно в мире слов и конвенциональных интерпретаций, достигнутых на закрытом слушании, и может гласить все, что захочет, поскольку уполномочено произносить последнее слово²⁷. Право имеет собственную стойкость, собственную твердость, обоснованность, непреклонность, позитивность и даже собственную объективность, у которой, хотя мы и допустили, что она сконструирована, нет причин завидовать научному реализму. Наше знание о том, что ученые говорят истину о явлениях, возникает именно благодаря тому, что они могут воздействовать на них, трансформировать и проверять их тысячами различных способов, а также потому, что они могут использовать экспериментальные технологии и проникнуть в самые тончайшие детали их материального существования. Именно потому, что реальность не является чем-то неуловимым, а также потому, что она не имеет никакого отношения к «фактическому положению дел», придуманному эпистемологией, наука и способна вполне точно говорить о реальности. Таким образом, бессмысленно пред-

27

В этом проявляется уязвимость термина «легитимный», который часто и неверно употребляется социологами, неправильно истолковывающими право и общество. См.: Thomas Y. *Fictio Legis: l'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales // Droits*. 1995. №21. P. 17.

ставлять различие науки и права как различие между объектами и знаками, между жестким и мягким, бесспорным и произвольным. Предостерегая принимать *res judicata* за истину, я вовсе не имею в виду, что это стало бы оправданием для некой формы цинизма. Я лишь утверждаю, что *res judicata* имеет более важные задачи, чем подражание истине или приближение к ней: она должна вершить справедливость и провозглашать закон в соответствии с текущим состоянием юридических текстов, причем делать это, принимая во внимание прецеденты и не обращаясь к другим инстанциям, кроме судей, которым некому перепоручить свои судейские обязанности.

Могли бы возразить, что тем самым попросту возрождается старое различие суждений о фактах и суждений о ценностях. Что касается меня, то я скорее склонен рассматривать само это различие как отголосок выдумки великих английских философов XVII века, которые, по причинам скорее политическим, неприемлемым образом скрестили право с возникавшими в то время экспериментальными науками. Действительно, странно наблюдать, как, выстраивая свою картину науки, эмпирики заимствуют определение факта у судей, для того чтобы применить его в науке, ведь, как мы уже видели, оно никоим образом не схватывает отношения исследователей и их объектов. В воображении эмпириков сырые факты, сущностные «данные» или «чувственные данные» имеют любопытное свойство быть одновременно незначительными и неопровержимыми. Они образуют сырой материал суждения, который упорядочивается и комбинируется человеческим умом. Но разве не точно таким же образом работают с фактами правоведы, с точки зрения которых факты должны быть установлены как можно скорее, чтобы можно было сразу перейти к тому, что действительно важно, а именно, к процессам классификации или ученого толкования? Но в какой лаборатории можно найти исследователя, имеющего дело с простыми «чувственными данными»? Только эмпирик мог вообразить, будто отношение между научной статьей и тем, что она описывает, представляет собой нечто вроде отношения чего-то доступного сомнению, с одной стороны, и чего-то бесспорного – с другой. Если мы признаем, что само понятие «сырых фактов» – результат странного скрещивания права и науки, то теперь нам проще понять, как такие добродетели как отстраненность, безразличие, беспристрастие и незаинтересованность, характеризующие работу судей, оказались перенесены на ученых или даже на такую невероятную и крайне политизированную историческую фигуру, как «эксперт», который способен привести дискуссию к завершению, так как он присваивает способность оставлять другим участникам простор для аргументации или, наоборот, связывать их, апеллируя к «фактическому положению дел».

Это – отклонение от нормальной работы научного исследователя, но в еще большей степени это крах права, представители которого только потому и позволяли себе поставить в дискуссии точку, что не могли делегировать завершение диспута никакому другому органу, но лишь тонкой имманентности права самого по себе. С помощью этого впечатляющего маневра эмпиризм связал добродетели политики, науки и права в гордиев узел, обратив их, тем самым, в пороки.

Представления о «фактическом положении дел» в XVII веке были во многом результатом умолчания о том, что сейчас все больше привлекает наше внимание, а именно, общей этимологии, связывающая вещи и дела, *things* и *cases*, тяжбы с причинами, *cause* с *cause*, вещь и *Ding*²⁸. В результате странной инверсии, или, может быть,

в результате атаки вещей, чуждых социальному миру, научные объекты снова стали частыми предметами дискуссий в Парламенте или в зале суда. Две этимологии, родившиеся в зале суда или по крайней мере на предшествовавших судам чрезвычайных собраниях, по мере своей эволюции постепенно отделились друг от друга в силу мнимого различия между независимым судебным рассмотрением и верховным трибуналом экспертов, говорящих от имени неопровержимых фактов и, следовательно, находящихся вне сферы человеческих дел, разбирательств и тяжб. Однако теперь, когда все, что относится к нашему коллективному существованию, стало объектом в лаборатории, кажется, что, по мере того как проект модерна постепенно исчерпывает себя, не существует больше факта, который бы не являлся в то же время тяжбой или заявлением. Вещь снова стала Вещью или *Ding*. Вот почему становится все более важным, чтобы объекты вернулись, наконец, к своим естественным истокам и чтобы особенности науки и права не смешивались друг с другом. <...> Проводя различие между неопровержимыми фактами и относительными ценностями, философы модерна ссылались на природу объектов, не уделяя должного внимания различию задач ученых и юристов. Но теперь различие должно быть проведено иначе, а именно путем обращения к природе этих двух профессий, представители которых занимаются, в целом, основаниями (*causes*) или обстоятельствами (*cases*). Важно не пытаться заставить науку выносить приговоры, а закон – глаголить истину.

Это привело бы к окончательному спутыванию тех признаков, которые все еще позволяют различать эти две формы вовлеченности <...>. Тогда как в праве высоко ценится предсказуемость (*securite juridique*), в науке о такой вещи как надежность не может идти речи. Ученый, коль скоро он вложил свой собственный камень в здание дисциплины, должен видеть себя в роли Самсона, расшатывающего колонны храма, переворачивающего парадигмы, ниспровергающего здравый смысл и крушащего старые теории. Юрист, даже когда он приводит особо дерзкий аргумент, ставящий под сомнение существующие прецеденты, должен заботиться о неприкосновенности правового здания, последовательности в отправлении властных полномочий и в применении закона. <...> Хотя вполне можно с восхищением говорить о «революционной науке», «революционные законы» всегда были так же ужасающи, как и суды с чрезвычайными полномочиями. <...> Подобно нормам, юристы держат в руках тонкую нить с целым набором постановлений, текстов и прецедентов, и эта нить может быть порвана только в случае деградации права вплоть до отказа от принципа справедливости. <...> ■